

**Алоизиус Бертран**

# **Гаспар из тьмы**

**Фантазии в манере Рембрандта  
и Калло**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
А51

А51 **Алоизиус Бертран**  
Гаспар из тьмы: Фантазии в манере Рембрандта и Калло / Алоизиус Бертран –  
М.: Книга по Требованию, 2012. – 224 с.

**ISBN 978-5-4241-3278-0**

Рождение жанра стихотворений в прозе связывают с Францией и романтизмом, его началом считают книгу миниатюр поэта-романтика Алоизиуса Бертрана «Гаспар из Тьмы. Фантазии в манере Рембрандта и Калло».

**ISBN 978-5-4241-3278-0**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2012

Алоизијус БЕРТРАН  
ГАСПАР ИЗ ТЪМЫ  
ФАНТАЗИИ В МАНЕРЕ  
РЕМБРАНДА И КАЛЛО



Издание подготовили: Н. И. БАЛАШОВ, Е. А. ГУНСТ, Ю. Н. СТЕФАНОВ

Редакционная коллегия серии «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»: М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Г. П. Бердников, Д. Д. Благой, И. С. Брагинский, А. С. Бушмин, М. Л. Гаспаров, А. Л. Гришунин, Л. А. Дмитриев, Н. Я. Дьяконова, Б. Ф. Егоров (заместитель председателя), Д. С. Лихачев (председатель), А. Д. Михайлов, Д. В. Ознобишин (ученый секретарь), Д. А. Ольдерогге, Б. И. Пуришев, А. М. Самсонов (заместитель председателя), М. И. Стеблин-Каменский, Г. В. Степанов, С. О. Шмидт

Ответственный редактор Н. И. БАЛАШОВ

# [ПЕРВОЕ АВТОРСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ] 1

*Ты помнишь день, когда, идя дорогой  
длинной*

*На Кельн увидели мы вдруг Дижон  
старинный*

*И замерли, смотря, как золотит за-  
кат*

*Высоких шпилей, крыши и колоколен  
ряд.*

*Сент-Бёв. Утешения*

*Зубчатый донжон <sup>3</sup>,  
Церковные шпильки <sup>4</sup>,  
Ввысь башенки взмыли -  
Вот он, наш Дижон.  
Здесь в небо летели  
С древнейших времен  
Веселые трели -  
Литой перезвон.  
Был важной столицей  
Наш город старинный;  
Он славен горчицей  
И маркою винной.  
Девиз над гербом <sup>5</sup>  
На чугунных воротах,  
Жакмар с молотком  
На соборных часах <sup>6</sup>.*

Я люблю Дижон, как ребенок любит свою кормилицу, как поэт – девушку, впервые тронувшую его сердце. – Детство и поэзия! Как одно быстротечно, как обманчива другая. Детство – это бабочка, которой не терпится обжечь свои белые крылышки в пламени юности, а поэзия подобна миндальному дереву: цветы ее благоуханны, а плоды горьки.

Однажды я сидел в сторонке в саду Пищали <sup>7</sup> названному так по оружию, благодаря коему ловкость рыцарей не раз проявлялась при стрельбе по деревянным птичкам. Я замер на месте и можно было сравнить меня со статуей на бастиионе Базир. Шедевр ваятеля Севалле и живописца Гийо изображал аббата <sup>8</sup>, сидящего с книгою в руках. Сутана его была безупречна. Издали его принимали за живого, вблизи же оказывалось, что это гипс.

Какой-то прохожий кашлянул и тем самым развеял рой моих грез. То был жалкий малый внешность которого свидетельствовала о горестях и нищете. Мне уже доводилось встречать в том же саду его обтрепанный, застегнутый до подбородка сюртук, помятую шляпу, которой никогда не касалась щетка, волосы длинные, как ветви ивы, и спутанные, как густой кустарник, его худые костлявые руки, его невзрачное, лукавое болезненное лицо с жидкой назарейской бородкой, и я великодушно отнес его к числу тех мелких ремесленников – то ли скрипачей, то ли художников-портретистов, которых ненасытный голод и неутолимая жажда вынуждают скитаться по свету вслед за Вечным Жидом <sup>9</sup>.

Теперь нас на лавочке было двое. Сосед мой стал перелистывать книжку, и из нее выпал засушенный цветок, чего незнакомец не заметил.

Я подобрал цветок, чтобы подать ему. Поклонившись мне, он поднес цветок к поблекшим губам и положил его снова в свою загадочную книгу.

– Это, вероятно, память о минувшей нежной любви? – осмелился я сказать. – Увы, у каждого из нас есть в прошлом день, который несет нам разочарование в будущем.

– Вы поэт? – спросил он, улыбнувшись.

Ниточка разговора завязалась: на какую же катушку она станет наматываться?

– Да, поэт, – если быть стремиться обрести искусство.

поэтом – значит

– Вы стремились обрести искусство! И обрели его?  
– Ах, волей небес искусство – всего-навсего несбыточная мечта!  
– Несбыточная мечта!... А я ведь тоже стремился к ней! – воскликнул он, и в голосе его звучали восторженность таланта и пафос победителя.

Я попросил его сказать мне, у какого мастера заказал он очки, позволившие ему сделать такое открытие, ибо для меня искусство не что иное, как иголка, затерявшаяся в копне сена...

Я решил стремиться обрести искусство, как в средние века розенкрейцеры<sup>10</sup> стремились обрести философский камень<sup>11</sup>, – ответил он. – Искусство – это философский камень XIX века.

Прежде всего я стал искать ответ на вопрос: что такое искусство? – Искусство – наука поэта – Определение ясное, как алмаз самой чистой воды.

Из чего складывается искусство? На этот, второй, вопрос я не решался ответить несколько месяцев. Однажды при свете коптящей лампы я рылся в пыльных залежах знакомого букиниста и откопал там книжечку, написанную рудным невразумительным языком; на титуле ее развевалась лента с двумя словами: *Got – Liebe*<sup>12</sup>. Я за гроши купил книжку, взобрался к себе на мансарду и стал с любопытством перелистывать покупку у окна, залитого лунным светом; и вдруг мне почудилось будто перст божий коснулся клавиш мирового органа. Так бабочки, шелестя, выходят из чашечек цветов, протягивающих уста навстречу поцелуям ночи. Я свесился из окна и посмотрел вниз. О чудо! Не сон ли это? Я увидел террасу, о которой не подозревал, потому что она была скрыта нежной зеленью апельсиновых деревьев, девушку в белом платье, игравшую на арфе, и старика в черном; он стоял на коленях и молился. Книжка выпала у меня из рук.

Я спустился вниз к жильцам, хозяевам террасы. Старик оказался реформатским пастором который предпочел своей холодной тюрингской родине изгнание в нашей теплой Бургундии. Арфистка, хрупкая белокурая красавица лет семнадцати, томная и грустная, была его единственным детищем, а книжка, о которой я рассказал им, оказалась лютеранским требником с гербом одного из принцев Ангальт-Кутен<sup>13</sup>.

– Ах, сударь! Не будем тревожить не остывший пепел! Элизабет теперь уже подобна Беатриче в лазоревом одеянии<sup>14</sup>. Она умерла, сударь, умерла! И вот требник, над которым она склонялась в робкой молитве, и роза, которой касалось ее чистое дыхание! – Цветок увядший, еще не успев распуститься, как и она сама! – Книга закрытая, как и книга ее судьбы! – Благословенные реликвии, которые она и в вечной жизни узнает по тем слезам, что оросили их, когда труба архангела разобьет надгробие на моей могиле и я устремлюсь над мирами к моей боготворимой деве, чтобы воссесть наконец рядом с нею у престола господня!...

– А искусство? – спросил я.

– То, что в искусстве представляет собою *чувство*, я в муках познал. Я любил. Я молился. – *Cott – Liebe*, Бог и Любовь! – Но то, что в искусстве представляет собою *идею*, по-прежнему только возбуждало мое любопытство. Мне показалось, что дополнение к искусству я найду в природе. И я стал изучать природу.

Я выходил из дому утром и возвращался лишь вечером. То, облокотясь на парапет разрушенного бастиона, я долгие часы с наслаждением вдыхал дикий, волнующий запах лакфиоля, золотистые цветы которого рассыпаны по плющу,

окутывающему мантией древний феодальный городок Людовика XI<sup>15</sup>; то наблюдал, как видоизменяется мирный пейзаж от порыва ветра, от солнечного луча или внезапного ливня, любовался, как в лесочке, пестрящем светлыми бликами и тенями, гоняются друг за дружкой жаворонки, как дрозды слетаются с пригорков и клюют виноград с таких высоких лоз, что в них мог бы спрятаться олень из басни<sup>16</sup>, как грузные вороны собираются с разных сторон к остову коня, оставленному живодером в какой-нибудь зеленеющей лошине; то прислушивался к тому, как прачки гремят вальками на берегу Сюзоны<sup>17</sup> и как мальчик напевает жалобную песенку, вращая у крыльца станок сапожника. – То я вдаль от города прокладывал для своих мечтаний тропинку, усталую мхом и росой, безмолвием и покоем. Сколько раз я срывал багряные горькие гроздьи в колдовской чаще возле источника Юности и пустыни Нотр-Дам-д'Этан, у источника Духов и Фей, у Чертова скита<sup>18</sup>! Сколько раз находил я на каменистых высотах Сен-Жозефа, размытых грозами, окаменелые раковины и кораллы! Сколько раз ловил раков в тинистых бродах местных речушек ТиИ<sup>19</sup> среди равнодушных кувшинок, среди водорослей, где прячется застывшая саламандра! Сколько раз наблюдал я за ужом на топких берегах Солоны, где слышится лишь однообразный крик лысухи да унылые вздохи гагары! Сколько раз свеча моя озаряла подземные пещеры Аньера, где со сталактитов медленно стекает неиссякающая капля клепсидры веков<sup>20</sup>! Сколько раз трубил я в рог на отвесных утесах Шевр-Морта, когда дилижанс тяжело подымался по дороге футак в трехстах ниже моего убежища, скрытого туманом! И даже ночами, летними благоуханными светлыми ночами, сколько раз бродил я, как оборотень, вокруг костра, разведенного на пустынной, заросшей лужайке, – пока дубы не дрогнут от первых ударов дровосека! Ах, сударь, как сладостно уединение для поэта! Я был бы счастлив, если бы мне дано было жить в лесу и нарушать его покой не больше, чем птичка, утоляющая жажду в прозрачном ключе, чем пчелка, пьющая сок из ягоды боярышника, чем зрелый желудь, падающий сквозь листву

– А искусство? – спросил я.

– Терпение! Искусство все еще было неуловимо. Изучив зрелище природы, я стал изучать человеческие творения.

Было время, когда Дижон не расточал досужие часы на музыкальных вечерах. Он облакался в кольчугу – надевал морион<sup>21</sup> – потрясал протазаном<sup>22</sup> – обнажал меч – заряжал пищаль – устанавливал на крепостных стенах пушки – выступал Е поход с барабанным боем, под рваными знаменами, и, подобно седебородому менестрелю, который, прежде чем сыграть на скрипке, произносит несколько велеречивых слов, он мог бы рассказать вам много диковинных историй; поведали бы о них и его обрушившиеся бастионы, под развалинами коих погребены корни индийских каштанов, некогда украшавших город, поведал бы о них и опустевший замок, подъемный мост которого сотрясается под усталым шагом кобылы с жандармом, возвращающимся к себе в казарму, – все здесь свидетельствует о двух Дижонах: Дижоне нынешнем и Дижоне былых времен.

Вскоре я совсем освоился с Дижоном XIV и XV веков, вокруг которого цепью были разбросаны восемнадцать башен, восемь ворот и четыре потайных хода – с Дижоном Филиппа Отважного, Иоанна Бесстрашного, Филиппа Доброго и Карла Смелого, с его самановыми домами под острыми, как шутовской колпак, кровлями, с фасадами, пересеченными андреевским крестом<sup>23</sup>; с его особняками,

похожими на крепости и изобилующими узкими бойницами, двойными калитками, внутренними мощеными двориками; – с его храмами, часовнями, аббатствами, монастырями, колокольнями, шпили которых тянулись, как крестный ход, а хоругвями ему служили золотые и лазурные витражи, и верующие несли чудотворные реликвии, коленопреклоняясь у темных склепов мучеников и у переносных алтарей, увитых цветами; – с руслом Сюзоны, через которое были переброшены деревянные мостики и сооружены мельницы, причем оно разделяло владение аббата Сен-Бенинской обители от владения аббата Сент-Этьенского словно жезл, которым парламентский старшина разнимает двух тяжущихся, готовых лопнуть от ярости <sup>24</sup>; – наконец, с его людными предместьями, из коих одно, Сен-Николя, растянулось двенадцатью улочками на самом солнцепеке, как брюхатая свинья, выставившая напоказ все свои двенадцать сосков. Я гальванизировал труп, и труп восстал.

Дижон поднимается; он поднимается, шагает, бежит! Тридцать колоколов трезвонят в синем небе – небе того оттенка, что любил старик Альбрехт Дюрер <sup>25</sup>. Толпы теснятся у гостиниц на улице Бушпо, у парилен возле ворот Шануан, у садика на улице Сен-Гийом, у разменной конторы на улице Нотр-Дам, у оружейных мастерских на улице Форж, у фонтана на Францисканской площади, у хлебобпекарни на улице Без, у крытого рынка на площади Шампо, у виселицы на площади Моримон; мещане, дворяне, крестьяне, солдаты, священники, монахи, писцы, купцы, пажи, жидаы, ростовщики, странники, менестрели, судейские, чиновники Счетной палаты, чиновники податные, чиновники Монетного двора, чиновники лесного ведомства, чиновники герцогского двора, вопящие, свистящие, стенающие, понощие, просящие, ругающиеся – в повозках, носилках, на конях, на мулах, на иноходце святого Франциска <sup>26</sup>. – Можно ли сомневаться, что город воскрес? Посмотрите, как развеивается на ветру наполовину зеленое, наполовину желтое шелковое знамя, затканное гербом города – красным с золотыми виноградными лозами <sup>27</sup>.

Но что это за кавалькада? То герцог собрался на охоту. Герцогиня уже ждет его в Руврском замке. Какой великолепный выезд, какая многочисленная свита! Монсеньор герцог на сером в яблоках коне, вздрагивающем от резкой утренней прохлады. Вслед за ним гарцуют, красуются *богачи* из Шалона, *дворяне* из Вьенны, *рыцари* из Вержи, *гордецы* из Нешателя, *славные бароны* из Бофремона. – А кто те двое, что замыкают поезд? Младший, в бархатном камзоле цвета бычьей крови и колпаке с погремушками, надрывается от смеха; тот, что постарше, в черном, с капюшоном суконном плаще, под которым он держит объемистую псалтырь, смущенно поник головой; один из них – попечитель непотребных вертепов <sup>28</sup>, другой – придворный капеллан. Шут задает ученому вопросы, на которые собеседник не может ответить, и в то время, как простонародье славит рождество, в то время, как кони ржут, ищейки лают, рога трубят, – те двое, положив поводья на шеи своих иноходцев, непринужденно рассуждают о мудрой госпоже Юдифи и храбром рыцаре Маккавее <sup>29</sup>.

Но вот герольд трубит в рог на вышке герцогского дворца. Это знак охотникам, рассеянным по равнине, чтобы они спускали соколов. Погода дождливая; сероватая мгла совсем скрывает от герольда аббатство Сито, расположенное вдали, в болотистом лесу; но вот луч солнца освещает не столь отдаленные замок Талан, плоские крыши и башенки которого вырисовываются на фоне облаков, – замки

сира де Ванту и сеньора де Фонтеа с флюгерами, выглядывающими из густой листвы деревьев, – монастырь Сен-Мор, голубятни коего виднеются за целой стаей голубей, – лазарет Сент-Аполлинер, где всего лишь одни ворота и вовсе нет окон, – часовню Сен-Жак де Тримолуа, похожую на паломника в одеянии, обшитом раковинками <sup>30</sup>, – и у самых стен Дижона, за угодьями аббатства Сен-Бенинь, картезианский монастырь, белый, как ряса последователей святого Бруно <sup>31</sup>.

Дижонский картезианский монастырь! Это Сен-Дени <sup>32</sup> герцогов Бургундских <sup>33</sup>. Ах, зачем дети так завидуют шедеврам своих отцов! Сходите теперь на место, где стоял монастырь, и вы будете спотыкаться о поросшие травой камни, которые когда-то были частью свода, алтаря, надгробия, каменного пола; камни, некогда овеянные ладаном кадилниц, закапанные воском свечей, слышавшие звуки органа; камни, на которые герцоги здравствующие преклоняли колена, а усопшие поникали головою. – О тщета величия и славы! Теперь в землю, где покоится прах Филиппа Доброго, сажают тыквы! – От монастыря ничего не осталось! – Ошибаюсь! – Еще высятся портал храма и башенка колокольни; легкая и стройная, повитая левкоем, башенка похожа на юнца с борзой на поводке; поврежденный портал все еще столь прекрасен, что мог бы служить драгоценным наперстным украшением какого-нибудь собора. На монастырском дворе, кроме того, сохранился огромный пьедестал, на котором уже нет креста, а вокруг пьедестала – шесть статуй пророков, великолепных в своей скорби. – А что оплакивают они? Они оплакивают крест, вновь вознесенный ангелами на небеса.

Судьба картезианского монастыря похожа на судьбу большинства памятников, украшавших Дижон ко времени присоединения герцогства к королевским владениям. Дижон стал всего лишь собственной тенью. Людовик XI лишил город былого могущества, революция обезглавила его колокольни. Из двух аббатов, двенадцати монастырей, семи храмов и часовни <sup>34</sup> в нем осталось теперь только три церкви. Трое из его ворот заперты, потайные ходы разрушены, слободы стерты с лица земли, воды Сюзоны исчезли в трубах, население его оскудело, а дворянство обабилося. – Увы! Оно и видно, что герцог Карл <sup>35</sup> со своей дружиной ушел на войну – вот уже почти четыре века тому назад, – да так и не вернулся.

И я бродил среди этих развалин, как антикварий, ищущий после ливня римские медали на месте какого-нибудь castrum <sup>36</sup>. В умершем Дижоне еще сохранилось нечто из того, чем он был; он подобен богатым галлам, которых хоронили, положив им в рот золотую монету, а другую – в правую руку.

– А искусство? – спросил я.

– Однажды у церкви Нотр-Дам я наблюдал, как Жакмар, его жена и ребенок отбивают полдень. – Точность, тяжеловесность, равнодушие Жакмара сразу же выдают его фламандское происхождение, даже если бы мы не знали, что он отмерял время славным обывателям Куртре во время разграбления этого города в 1383 году. Гаргантюа украл парижские колокола, Филипп Отважный – башенные часы Куртре; каждый действует на свой лад. – Вдруг сверху раздался взрыв хохота, и я увидел на углу древнего здания одно из тех страшных чудищ <sup>37</sup>, которых средневековые ваятели подвешивали за плечи к соборным водосточным желобам; то был жуткий образ осужденного на адские муки – он высунул язык, скрежетал зубами и заламывал руки. – Его-то хохот и услышал я.

– Это вам в глаз что-то попало! – вскричал я.

– Ни соринки в глазу, ни былинки в ухе у меня не было. Каменное изваяние хохотало, хохотало судорожно, жутко, адски, в то же время издевательски, язвительно, смачно.

Мне стало стыдно, что я столько времени уделяю какому-то помешанному. И тем не менее я улыбкой поощрил занятные рассказы этого розенкрейцера от искусства.

– Приключение заставило меня призадуматься, – продолжал он. – Я подумал, что раз Бог и Любовь – первооснова искусства, раз им принадлежит то, что в искусстве составляет *чувство*, – не может ли Сатана быть второю основой и представлять собою то, что в искусстве составляет *идею*? – Не дьявол ли соорудил Кельнский собор? <sup>38</sup>

И вот я ищу дьявола. Я корпел над колдовскими писаниями Корнелия Агриппы <sup>39</sup> и поймал черную курицу <sup>40</sup> моего соседа, школьного учителя, но дьявола в ней не больше, чем в четках набожной старухи. А ведь дьявол как-никак существует; блаженный Августин точно описал его собственной рукой: *Daemones sunt genere animalia ingenio rationabilia, animo passiva, corpore aerea, tempore aeterna* <sup>41</sup>. Сказано ясно. Дьявол существует. Он разглагольствует в парламенте, выступает в суде, играет на бирже. Его изображают на виньетках, расписывают в романах, выводят в драмах. Его видишь всюду, вот как я вижу вас. Карманные зеркальца только для того и придуманы, чтоб ему удобнее было подстригать бородку. Полишинель <sup>42</sup> прозевал своего, а также и нашего врага. Ах, почему только не прикончил он лукавого, хлопнув его по башке дубинкой!

Перед сном я выпил эликсир Парацельса <sup>43</sup>. От него у меня заболел живот. Но дьявола с рогами и хвостом я так нигде и не встретил.

А вот и еще разочарование: в ту ночь гроза совсем залила древний город, погруженный в сон. Как я ощупью бродил в потемках, по закоулкам Нотр-Дам – это может объяснить вам только святотатец. Нет такого затвора, к которому преступник не подобрал бы ключа. – Но сжальтесь надо мною – мне необходимы были облатка и кусочек покрывала с мощей святого. – Вдруг огонек прорезался сквозь потемки, затем показалось еще несколько огоньков, и я увидел кого-то; в руке он держал длинную палку с фитилем и зажег свечи у главного алтаря. То был Жакмар; он был так же невозмутим, каким бывает всегда под часовым колоколом; он затеплил все свечи, ничуть не смущаясь и даже не замечая присутствия непосвященного соглядатая. Коленопреклоненная Жаклина, не шевелясь, стояла на обычном месте; потоки дождя струились по ее свинцовой юбке, скроенной по брабантской моде, сбегали по железному воротничку словно складки брюгтских кружев, текли по ее деревянному лицу, раскрашенному, как нюрнбергская кукла <sup>44</sup>. Я робко задал ей вопрос насчет дьявола и искусства, но тут рука злодейки вдруг резко опустилась, тяжелый молот, который она держала, с грохотом ударился о колокол, и под тысячекратное эхо появилась толпа аббатов, рыцарей, благотворителей, древние мумии которых населяют подземелья храма; они торжественно шествовали вокруг сияющего алтаря, где блистали дивным, небесным великолепием ясли младенца Христа. Черная мадонна <sup>45</sup>, мадонна варварских времен, высоту в локоть, с трепещущим тонким венцом на голове, в накрахмаленном, усеянном жемчугом одеянии, чудотворная мадонна, перед которой потрескивает серебряный светильник, спрыгнула со своей подставки и, как юла, закружилась на каменном полу. Она выступала из глубин храма, прихотливо и изящно под-